

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИЮЛЬ

10

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1938 год

№ 38 (745)

Цена 30 коп.

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГАЗЕТА

Выходит под редакцией: В. Ставского, Е. Петрова,
В. Лебедева-Кумача, Н. Погодина, О. Войтинской.

Борьба за Чехова¹

В бживленном споре конца 80-х годов о «молодой литературе» «Неделя» поспешила завербовать Чехова в свой лагерь, об'явив его «пантеистом-художником», которому безразлично, что бы ни изображать, лишь бы не судить жизнь с точки зрения «идеалов гражданственности», лишь бы постигнуть таинственную сущность «неустанно творящей природы»². Эту литературную критику Чехов в письме к Шелгуну назвал мудростью индюков. Но недоумение с Чеховым выросло, когда и в демократическом лагере причислили его к единомышленникам «Недели» и стали рассматривать, как самого видного представителя «общественного индиферентизма» в литературе. Ведь это о Чехове, не называя его, писал Шелгун: «Беллетристические произведения молодых беллетристов чаще всего художественный перифраз газетных сообщений о каком-нибудь местном происшествии или случае... Собака села котя, церковного сторожа обманули воры, трусливый лесник не вышел из своей хаты на крик о помощи, — вот темы для художественного творчества молодых беллетристов. Уж будто бы это пантеизм? Уж будто бы вся Россия до того опорожнилась, что для мыслящего человека в ней нет ничего, что хотелось бы ему понять и об'яснить»³. Все публицистические устремления Шелгунова в этот период были направлены на пробуждение общественной активности и пропаганду необходимости широких идейных концепций. «Случайный» характер сюжетов Чехова был для него принципиально неприемлем, за сюжетами он не разглядел содержания и всерьез стал нового писателя единомышленником «Недели».

Между тем по самой природе своего творчества Чехов был явлением, резко противоречащим системе мышления буржуазных писателей, «реабилитировавших действительность». Еще в самом начале своей литературной деятельности, в 1883 году, Чехов писал брату: «Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду... Ни одного дельного слова, одно только благодушие!» (подч. Чеховым. — И. Г.). А опиши ты обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошел твой герой, довольный своим ленивым счастьем, как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви к этому, подвязанному салфеткой, сытому, об'евшемуся гусю...»⁴.

Уже с ранних, «осколочных» рассказов Чехов был жесточайшим врагом «сытого, об'евшегося гуса» — буржуа. Уже в первом периоде своей работы, полном юмористического блеска и гротеска, он был обличителем всей системы общественного строя, основанного на корысти, сытости и угнетении. В противоположность мелкобуржуазным идеологам 80-х годов Чехов совсем не занимался поисками «добра» и «светлых явлений». Все силы своего огромного таланта он отдал изображению жизни «какова она есть» и «какова она не должна быть». Чехов с изумительным проникновением в повседневный быт людей изобразил всю продажность буржуазной морали, все растлевающее влияние собственности и тот тончайший яд разврата, который проникает все человеческие отношения, основанные на купле-продаже нравственности и откупе мыслей и чувств. Подхалимство и подлобастие к денежному человеку, наглость и хамство сытого, воровство, дикость, бесчестие, тупое пренебрежение и издевательство над трудом человека, скотская морда накопления, накопление, как смысл и содержание жизни, вся эта сытая, но духовно нищенская жизнь также являлась несменяемой мишенью его обличений. Если Щедрин гениально наметил фигуру «чумазога», как воплощение русского «первоначального накопления», если Глеб Успенский сосредоточил свое внимание на том, как этот чумазный навис над крестьянским трудом, то Чехов обнаруживал его во всех порах общественной жизни, основанной на господстве сытых, эксплуатирующих голод, невежество и темноту. И никакого «утешения» не предоставлял Чехов людям, желавшим оправдать этот порядок вещей или приспособиться к нему.

В ряду разоблачаемых Чеховым иллюзий едва ли не самой сильной и значительной была иллюзия духовной свободы интеллигенции при социальном господстве буржуазии. Теме этой обманчивой духовной цельности посвящено одно из значительнейших произведений Чехова — «Скудная история», эта настоящая «поэма» 80-х годов.

Герой повести, знаменитый профессор, талантливый ученый, прожил великолепную жизнь, полную успехов. Он и теперь, пораженный неизлечимой болезнью и го-

товясь к смерти, верит, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одним человек победит природу и себя.

Но не даром в письме к Плещееву Чехов довольно непочтительно по отношению к своему герою указывает на то, что в своих рассуждениях профессор «влияет перед самим собою». Дело в том, что его жизнь оказалась не такою цельной и удачной, какой он хочет представить ее теперь, подводя итоги. Он, правда, тщательно охранял свою репутацию. К двум самым важным качествам ученого — трудолюбию и таланту — он постарался прибавить то, что сделало его «воспитанным, скромным и честным малым». «Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна...»

Так оградил он себя и свою «чистоту». Он, по словам своей воспитанницы Кати, принадлежал к тем людям, которые «видят зло только издали, не хотят подойти поближе». И вот, только теперь, когда изнуряющая болезнь грозит прервать его лекции и совершенно выбивает его из привычной колеи, он с недоумением видит, как окружает его, как подступает к самому горлу нестерпимая пошлость в собственной семье, мошенничество и продажная ничтожность в любимой им науке, опустошенность и бездарный скептицизм близких ему друзей. С изумительной тонкостью показано Чеховым стремление старшего профессора оправдать себя перед самим собой, снять с себя чувство ответственности за то, что он проглядел жизнь, за то, что морально гибнут два близких ему существа, его воспитанница и его дочь, которым он ничего не дал в прошлом и ничем не может помочь теперь.

«Скудная история» явилась как бы итогом творчества Чехова 80-х годов. Вряд ли интересно приводить все те многочисленные курьезы, которыми встретила критика его повесть. Так, например, либеральная «Русская мысль» просто недоумевала: чего еще нужно профессору при его общественном положении, славе и учености, и чего еще нужно автору от профессора, — дай бог всякому такую жизнь!

Разлад с «публикой» того Чехова, который вышел уже за пределы юмористических журналов, был неизбежен. Незадолго до этого и Щедрин отозвался о трагическом для писателя положении, когда «писатель пописывает, а читатель почитывает».

На потребу читателя-мещанина ширилась «мелкая пресса», бульварные листки и как «высокая литература» этого рода — буржуазно-мещанские повести и романы. Лагерь демократической литературы был в ту пору сильно оттеснен этим ростом обывательских настроений. И случилось так, что молодой Чехов был воспринят этим лагерем, как необычайно одаренный представитель той же обывательской среды. Когда Короленко, одним из первых людей этого лагеря оценивший огромный талант Чехова, ввел его в конце 1887 года к Михайловскому, присутствовавший при этом Глеб Успенский отнесся к Чехову едва ли не как к посланцу той «увеселяющей литературы приятного чтения, потехи и щекотки», о которой незадолго до того он писал в очерках «Волей-неволей». «Я помню, — писал Короленко, — с каким скорбным недоумением и как пылливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно»⁵.

Ни Успенский, ни Михайловский, ни тем более Короленко не могли не знать, что, не говоря уже о вышедшем к тому времени сборнике «В сумерках», и в более ранних книгах Чехова «Невинные речи» и «Пестрые рассказы» далеко не все было похоже на «беззаботный смех». То, что дело было не только в «смехе», показывает критика Михайловского, который упорно обличал Чехова в «беззаботности», когда «смех» в сущности уже и не был.

Первым печатным отзвуком Михайловского о Чехове была его рецензия на книгу «В сумерках»⁶. Это было время, когда

Михайловский стремился привлечь Чехова к сотрудничеству в редактируемом им журнале «Северный вестник», и отзыв его о молодом беллетристе отличается мягкостью, хотя и сохраняет полностью свою принципиальность. Попрямее нападки на Чехова идут по линии выбора сюжетов и трактовки их. Переводя образное заглавие книги на язык литературного анализа, Михайловский раскрывает это заглавие, как желание автора творить в сфере «оборванности перспектив» и «смутности освещения». И хотя, писал Михайловский, «приятны сумерки и сумеречное настроение души», но в большом количестве они были бы «и скучны, и неудобны, и, прямо сказать, бесчеловечны». «Именно бесчеловечны, потому что уже и теперь какая же это человечность, если вы, на минуту заглянув в церковную сторожку, где мучаются и друг друга мучат дьячок с дьячихой, в сматенную душу Верочки, в душу Агафьи и ее мужа, тотчас же отходите прочь, не заинтересовываясь дальнейшей судьбой этих страдальцев, не задумываясь о ней? Вам хорошо в вашем ленивом и нелюбопытствующем спокойствии, но другим-то каково с вами и около вас жить?» В этом вопросе уже было сформулировано основное обвинение писателю в безучастии и равнодушии, равносильном «бесчеловечию».

В это же время Михайловский печатает ряд статей о французских «натуралистах» и на другие темы, и статьи эти настолько близки той же проблеме «равнодушия» и «протеста» в литературе, что составляют как бы одно целое с его статьями о Чехове. Мы видели, что принципы «субъективной идеологии» в критике, с обязательными требованиями наглядного «протеста» в самом произведении, вели к тому, что Балзак трактовался в народнической критике как апологет буржуазной действительности, а Золя — как законченный представитель нравственно-политического индиферентизма. Художественное воспроизведение Чеховым российской действительности с этой же точки зрения было подведено под готовый лозунг, подсказанный «Неделей», — лозунг «реабилитации действительности».

Самая широта изображения этой действительности послужила пунктом обвинения, Михайловский называл это «распушенностью и случайностью впечатлений». «Выбор тем г. Чехова поражает своей случайностью, — писал он о новой книге Чехова «Хмурые люди». — Его воображение рисует ему быков, отправляемых по железной дороге, потом тринадцатилетнюю девочку, убивающую грудного ребенка, потом почту, переезжающую с одной станции на другую, потом купца, пьющего, закусывающего и неизвестно что подписывающего, потом самоубийцу-гимназиста и т. д. То, что из картин, из этих «случайных» изображений выростала поистине «бесчеловечная» картина мира эксплуатации, нищеты, темноты, скуки и рабленности, этого не признал Михайловский. По его утверждению, у Чехова так же, как у старшего профессора из «Скудной истории», «даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи»⁷. Это историческое недоумение отразило встречу двух «общих идей». Чехов гениальной интуицией художника шел к отрицанию всей буржуазной действительности, Михайловский, отражая интересы и точку зрения мелкого производителя, «общую идею» борьбы помещала в пределах буржуазного строя и на путях либерального гуманизма.

Суворин в письме к Розанову после смерти Чехова с раздражением помянул своего либерального антипода: «губить Чехова стал именно Михайловский. А Чехов был тем поэтом, который поет, как птица, — поет и радуется»⁸. В этом была и старческая досада на конечную неудачу своих отношений с Чеховым, была и прямая ложь. Суворин не мог не знать, что Михайловский не имел влияния на Чехова и не мог не помнить, что сам он долго и упорно стремился к влиянию на него. До нас не дошли письма Суворина к Чехову, он обменял письма Чехова на свои и последние, видимо, уничтожил. Поэтому не всегда понятны нам ответы Чехова, и многие места его писем остаются как бы зашифрованными. Но и по письмам Чехова уже с первых лет их переписки ясно видны и попытки Суворина оказать влияние на творчество Чехова и прикрытое, не всегда, может быть, осознанное сопротивление последнего. И нужно сказать, что упреки Суворина весьма схожи с упреками Михайловского (с другим знаком, конечно). Исключительно интересна благороднейшая защита Чеховым материализма в связи с поповской, реакционной идеологией романа Бурже «Ученик» и попыт-

ками Суворина навязать эту идеологию Чехову. И особенно характерна переписка в связи с появлением повести Чехова «Палата № 6», в которой он с потрясающей силой воплотил все удушение и ужас победоносцевской России. После этого обмена мнений Суворин мог бы прийти к заключению о полной бесполезности своих дальнейших усилий.

По поводу «Палаты № 6» Михайловский снова повторил все упреки Чехову в «безразличии и безучастии», с которым он «направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и флону, на слезы и восторг». «В «Палате № 6» — писал Михайловский — с подробностью рассказаны биографии всех действующих лиц, а мы даже не можем хорошенько разоборать, кто из них сумасшедший, кто в здравом уме... Михайловский и здесь требовал положительного раз'яснения «добра» и «зла»⁹.

Более пронизательным оказался Суворин, который, видимо, сумел оценить силу отрицания этой повести и враждебность ее российской буржуазно-помещичьей империи. Вероятно, он снова поставил в письме к Чехову вопрос о положительных идеалах и о целях его творчества, потому что именно в связи с этой повестью Чехов ответил замечательным письмом, в котором вперемежку с шутками сообщал о трагической стороне своего сознания, об отсутствии у него утверждающих целей. «Я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе, и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями... Не я виноват в своей болезни и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана не даром...»

В этих признаниях Михайловский, пожалуй, нашел бы только новое подтверждение своего мнения о «безразличии и безучастии» Чехова, Суворин же, получив их, просто заподозрил Чехова в неискренности, — вероятно, слишком очевидна была ему бьющая сила повести. Он теперь очень не прочь был бы направить «превосходный художественный аппарат» Чехова если не к оправданию российской действительности, то хотя бы к «беззаботному» отношению к ней, чтобы он был «тем поэтом, который поет, как птица, — поет и радуется». Чехов резко отверг эту проповедь буржуазного самодовольства, указав, что для него это было бы «философией отчаяния». «Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях «вся наша беда», тому остается кушать, пить, спать, или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука»¹⁰.

Ограниченность творчества Чехова, лишнего утверждающих целей, об'яснима историческими и биографическими причинами. Но он утверждал отрицанием, и сила его ненависти и презрения к миру, где «подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами», где люди ведут «тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насильем, грубым развратом и лицемерием» («Палата № 6»), эта сила, питавшая его талант, сделала Чехова великим писателем и уж действительно была — «послана не даром»...

⁵ «Русские ведомости», 1892 г. № 335.

¹⁰ Письма. Том IV, стр. 154, 156, 157.

⁵ В. Короленко. Собр. соч. 1914 г. Том I, стр. 395.

⁶ «Северный вестник», 1887 г., № 9. Статья без подписи, но авторство Михайловского вне сомнения. Во-первых, об этом ясно говорит ее стиль, во-вторых, есть и свидетельство Чехова. В письме к брату от 3 декабря он сообщает, что был у Михайловского, критиковавшего его в «Северном вестнике».

⁷ «Об отцах и детях и о г. Чехове».

«Литература и жизнь» 1892 г. Стр. 94, 99.

⁸ Письма Суворина к Розанову. 1913 г. Стр. 143.

¹ Из книги «Горький и его время».

² «Неделя», 1888 г., стр. 484, 485.

³ «Русская мысль», 1888 г., № 7, стр. 112.

⁴ Письма. Том I. Стр. 39.